

Любое слово о поэте, тем более, если это слово – краткая, в несколько строк, аннотация, заведомо бедна перед словом самого поэта, если перед нами поэт подлинный, а не слагатель виршей, коим несть числа. Герман Власов из редчайшей породы стихотворцев настоящих, отдельных, инакомыслящих и инакочувствующих, но обладающих даром притягивать и вовлекать в своё «иное» пространство. И когда я читаю про становящееся длинным слово и становящийся тонким воздух, который позволяет человеку – чтецу, жнецу, грешнику, творцу, стоящему на кромке бытия, просочиться нескончаемым ребёнком в форточку за эту кромку, за полоску света, я знаю, понимаю, чувствую – лучше ни о поэзии автора, ни о человеческой душе не скажешь.

О. Г.

* * *

Мне точку ставили, она
росла сквозь почву игловатой
сосной; она была сильна,
зимой укрыта ватой.

Была бессонна, как укол,
вернее, дырочка наружу;
как шомпол, проходящий ствол
и утешенье мужу.

Горошина, нырнув в меня,
она увидела, открыла
вот эти руки, это я,
глаза, окно, стропила;

пугливу ласточку в углу,
её сношенья с внешним миром.
Когда стушуюсь и умру,
всё это станет милым:

шум кофемолки, тополя,
их речь, их липкие листочки;
начав от почвы, кончусь я
уже воздушной почтой;

смотря себя со стороны
из области, что сверху, слева,
где нет ни веса, ни вины,
из точки, где мы все равны –
из синевы, из неба.

* * *

Не воскресить, так выдумать,
на то мы и легки,
лба маленького выпуклость,
ресницы, ноготки.
И матери смущение
в кормлении его,
когда он угощение
приемлет делово.
Колени сына плотные
и шею старика.
Лихие, мимолётные
и Средние века.
Подробно, утомительно,
по пояс, через гать.
И – ласточку стремительно
в полёте описать.
Залив с отлогой сушею,
письмо от Дурново
и капитана Тушина,
а как же без него?
Ещё – твой нос веснушчатый,
чуть вздёрнут над столом,
когда ты томик Пушкина
читаешь, как псалом.

* * *

И если снег действительно растает
и вскроется, как обещали, рай, –
апостол Пётр поднимет и поставит
на табурет. И скажет мне: «Читай!»

И я прочту, как мама мыла раму,
как дождь покапал и как дождь прошёл.
Войти вниманьем в мыслимые раны
большим и детям – очень хорошо.

Потом, помявшись, оттянув колготы,
увидю: промедленье не любя,
с порога наблюдает в шапке кто-то, –
и пару строк добавлю от себя.

Свет затрещит и сцена преломится,
в гало и кобальт обернётся ель,
и будут птицы в золоте кружиться,
как на железных нитях карусель.

И слово станет длинным, воздух – тонким,
и просочиться в форточку возьмусь
каким-то нескончаемым ребёнком,
и – за полоской света – обернусь.

* * *

Опишите девочку, опишите воробья...

И. Бунин

Опишите снег, почему он ровен,
отчего приходит, куда идёт.
Почему не гром, но всегда огромен,
как «Война и Мир» или Новый год.
И о ком трещат тростниковой дудкой
в ледяной глазури стволы берёз.
Расскажите так, чтобы стало жутко,
нарисуйте волны её волос.
В череде крахмальной, в пылу метели
абрисы летели (к кому? куда?);
поясните так, чтобы захотели
влаги пересохшие берега,

будто губы речь (гласными, устало).
Не сугробы – линии у ворот, –
всё в согласных – складками покрывало,
солнечный прищур или алый рот.
Ну, а если спросят – глаза ли имя? –
чем я больше утренне дорожу, –
так отвечу: это солнечный иней –
больше ничего я им не скажу.
Видишь, как на окнах растут омелы,
а продышишь – омуты глубоки,
и скрипят по ватману (чисто, смело!)
эти твёрдо-красные каблуки.
Входишь в белый тир из семян и зёрен
(хочешь – и вернуть её помогу?)
но слетелись птицы от ветхих кровель:
хохлятся, охотятся на снегу.

* * *

Я приходил за нею много раз,
я в дверь стучал, заглядывал на окна –
там свет горел; там, видимо, был газ;
из форточки на кухне пахло свёклой
и яблоками; реже табаком
и кофе (да, тот самый, растворимый);
я, будто зверь – из темноты, тайком
глядел на кровлю и порог любимый.

Ещё я знал – там были книги, где
между страниц посеянная память
входила, как рассада при дожде
(она страницы трогала руками);
там были вещи комнаты, их жизнь:
торшер, комод; там жили постояльцы:
стаканы, блюдца, вилки и ножи;
любимые вещей касались пальцы.

И я стоял и ждал, когда ко мне
дверь скрипнет и откроется фрамуга,
и выйдет на внимательной волне
мелодия (я думал, будет fuga).
Дождю открытый и под небом гол,
я ждал её (я так себе измыслил) –

когда она обнимет тёплый ствол
и мы уйдём до облаков по листьям.

Листва упала, зренье изменя,
и белизна приманивала стужу,
та женщина смотрела сквозь меня
и в трубку выговаривала мужу.
Летали хлопья снега, как в кино,
не слушая земного притяженья,
а я стоял, как дерево одно, —
в окне я видел все её движенья.

* * *

Мел стереть сухой тряпкой —
так узбеки чистят снег, —
написать
куриной лапкой,
дочь отец собрал в охапку
(кто кого собрал?)
и шапку
натянуть,
не видеть век.

Видеть зарево,
пустую
неприкаянную жизнь:
всю такую красоту, и
Камергерский, и Тверскую
улицу дороговизн.
Ощутить витрины рабство,
ты — отверженный Гаврош.
Лучше снежное убранство.
Мама, родина, пространство,
снег на кончиках галош

и, растаяв, на паркете
в коридоре.
Услыхать
штурмовать далеко море
посылает нас
и горя
испугаться перестать.

На синем белая царапина –
там летчик точкой пролетел,
а летчик должен обязательно
следить за тучей нужных стрел.
И, незнакомый с небылицами,
приборной верен он доске.
Он в толстом шлеме с рукавицами
и любит кофе на песке.
Он потому иглой вонзается
и шьёт небесную лазурь,
что в детстве стать хотел прозаиком,
но отчим в детстве выбил дурь.
И вот один по небу синему
(или по чёрному зимой)
ведёт штурвалом ровно линию
(все линии ведут домой).
А рисовать кружки и палочки
(квадраты, схолии, зрачки)
умеют девочки и мальчики —
неслыханные дурачки.
В широких шляпах и с тетрадами,
похожие на облака,
смеются мальчики над дядями
и плачут девочки в рукав.
Но самолёт садится заданно
на остывающий бетон.
И к вечеру запахнет ладаном
свежеподстриженный газон.